

Феноменология против «Понятия сознания»¹

Феноменология

Возникновение феноменологии Гуссерля связано с критикой атомистической психологии Юма и Милля, предпринятой Brentano. Brentano понимал, что господствующие в то время английские теории психической жизни не могли должным образом работать с понятиями представления, суждения и умозаключения, равно как и понятиями воли и ощущения. Попытка свести все ментальные операции, связи и состояния к чувственным ощущениям и их отражениям, случайным образом упорядоченным ассоциацией, неминуемо вела к устранению различия между мышлением и чистым бредом, выбором и порывом, суждением и вкусовой оценкой, умозаключением и простым предположением, сомнением и заурядной растерянностью.

Brentano вполне осознанно устанавливает априорные принципы психологии, развивая свою теорию интенциональности как неотъемлемого признака сознания, а также выделяя различные уровни и аспекты интенциональности. Он не выдвигает гипотез о возможных последствиях нашего убеждения в том, что нечто произойдет, равно как и о последствиях выбранного нами образа жизни. Он размышляет о том, каким должен быть ментальный процесс, когда мы принимаем решение или формулируем суждение. Невозможно, например, эмпирически исследовать способность ребенка к счету или к умозаключению, если исследователь не знает заранее, что собой представляет данная деятельность (т. е. счет и умозаключение).

Brentano, по сути, проводит различие между исследованием понятий и исследованием фактов. Он требует, чтобы неэмпирические исследования содержания и связи понятий, которые описывают многосторонние проявления ментальной жизни, предшествовали фактологическим исследованиям эмпирических психологов.

¹ Работа первоначально была опубликована на французском языке в сборнике *La Philosophie Analytique // Cahiers de Royaumont Philosophie*. No. IV. 1962. Перевод с английского Анны Завалей по изданию *Ryle G. Collected Papers*. Vol. 1: *Critical Essays*. Сверка – Алексей Черняк. Ред. В. Куренной.

Эту область исследования понятий Гуссерль назвал «феноменологией». Такое название всегда приводило в замешательство англосаксонских исследователей, которые, хотя и были знакомы с платоновским и кантовским употреблением слова «феномен», были совершенно не осведомлены о его идеосинкразийном употреблении у Brentano, называющему так все, чему соответствуют эпитеты «сознательный» и «сознательно», т. е. в смысле того, что несомненно с картезианской точки зрения.

Гуссерль заимствовал платонистическую практику описания того, что я назвал исследованием понятий, понимая ее как исследование Сущностей. Эта идиома, сама по себе слишком необычная для англосаксонского восприятия, была связана с некоторыми специальными доктринами, относящимися к методам исследования понятий, не разделявшимися английскими мыслителями.

В конце XIX столетия Гуссерль испытывал во многом те же интеллектуальные влияния, что и Майнонг, Фреге, Бредли, Пирс, Дж. Э. Мур и Бертран Рассел. Все они, как один, выступали против психологии идей Юма и Милля; все они требовали освобождения логики от психологии; все находили в понятии средство освобождения от субъективистских теорий мышления; почти все они защищали платонистическую теорию значений, т. е. понятий и высказываний [propositions]; все проводили разграничение между философией и естественными науками, относя изучение фактов к естественным наукам, а изучение понятий — к философии; почти все рассуждали так, как будто эти философские исследования понятий завершаются каким-то сверх-проникновением в некий сверх-объект, как если бы исследование понятий было, в конечном счете, сверх-эмпирическим. В реальной практике своих исследований все они, тем не менее, неизбежно отклонялись от сверхнаблюдений, которых требовала их платонистическая эпистемология. Гуссерль рассуждал об интуитивном восприятии Сущностей во многом подобно тому, как Мур говорил об изучении понятий, а Рассел — о знакомстве с универсалиями. Но, конечно, они бились над разрешением стоявших перед ними концептуальных проблем, используя различные интеллектуальные средства, а не только интеллектуальную интуицию.

После написания «Логических исследований» (1899²) интересы Гуссерля сконцентрировались на философии сознания (или феноменологии), равно как и интересы Бредли, Мура и многих других. Для Фреге и Рассела эти мотивы не были определяющими. Но уже здесь существуют значительные расхождения, которые, в конечном счете, побуждают меня сказать, что выбранный Гуссерлем путь завел его в безвыходный тупик, в то время как эпистемологические усилия современных английских мыслителей завели их в трясину, из которой, тем не менее, можно выбраться на твердую почву.

Во-первых, Гуссерль был настолько околдован своей платонистической идеей исследования понятий как изучения сверх-объектов, названных им «Сущностями», что он убедил себя в том, что эти исследования должны вырасти — и вырастут — в новую науку: не просто науку среди других наук, но в Госпожу наук, под опекой которой будут находиться все прочие науки.

² Райл не совсем точен. Первый том «Логических исследований» вышел в свет в 1900 г., второй — в 1901 г. — *Прим.* ред.

Кроме того, Гуссерль был убежден, что философия сознания является базовой частью философии. Все другие концептуальные исследования логически следуют за исследованиями понятий сознания, идеации, восприятия, суждения, умозаключения, воображения, воления, желания и проч. Платонизированное картезианство мыслилось наукой о базисных Сущностях и Господой не только всех остальных наук, но и всех остальных частей философии. Он так раздул свою теорию значения, что последнее стало охватывать одновременно 1) то, что обозначает лингвистическое выражение, 2) то, что мы считаем данным нам в ощущении, например шум, 3) то, что *есть* в чем-либо, т. е. род, вид и природу, к которому оно принадлежит или которой обладает при правильной классификации, и 4) то, что конституирует интенциональный объект любого данного ментального акта, состояния или условия. Сознание было возведено в статус источника или донора не только значений всех значимых выражений, но также всего того, что понимается как данное в ощущениях, и, в конечном счете — того, что нечто вообще представляет собой, если мы знаем, что оно собой представляет.

Это гротескное изображение гуссерлевской феноменологии имеет своей целью показать на контрасте некоторые преобладающие черты современной философии, и в особенности философии сознания в англоязычном мире.

1. Если не считать одного-двух непродолжительных заигрываний, британские мыслители не имели склонности уподоблять философские исследования научным, равно как и *a fortiori*³ раздувать из философии Науку наук. Исследование понятий отличается от научных исследований не местом в научной иерархии, а своим типом. Они не занимают сравнительно более высокое или более низкое положение, поскольку не расположены на одной шкале. Полагаю, что наши ученые имели иммунитет против идеи философии как Господы наук в силу того, что в своей повседневной жизни в колледжах Кембриджа и Оксфорда они могли лично общаться с настоящими учеными. Претензии Вождизма улетучиваются, если над вами начнут подшучивать во время общения после совместного обеда. Гуссерль писал так, как будто никогда не сталкивался с ученым или не встречал такого рода насмешек.

2. *Даже внутри философии философия сознания для нас не занимает привилегированного положения.* Конечно, некоторые из нас, как и многие другие философы в прошлом и настоящем, больше всего интересовались проблемами эпистемологии, этики, эстетики, политики и юриспруденции. Других же больше интересовала философия математики, физики и биологии. Но мы не ломали голову над вопросом: «Каким философом должен быть Вождь?» И если бы такой вопрос был перед нами поставлен, то на него, пожалуй, можно было ответить, что логическая теория контролирует или должна контролировать разного рода исследования в области понятий, но даже этот контроль является скорее консультативным, а не директивным. По крайней мере, основные направления нашей философской мысли в этом столетии может полностью понять только тот, кто изучил существенные достижения нашей логической теории. Данный факт отчасти объясняет появление той пропасти, которая на протяжении трех четвертей века разделяла англосаксонскую и континен-

³ тем более (*лат.*).

тальную философии. Ведь на континенте, к сожалению, в течение этого столетия логические исследования проводились, главным образом, не на кафедрах философии. Если ими и занимались, то только на немногих кафедрах математики. Указав, в противоположность Гуссерлю, на нашу нерасположенность уподоблять философию науке или *a fortiori* сверх-науке, я теперь должен постараться показать, в чем же состоит наш способ и наша теория концептуальных исследований.

Кембриджская трансформация теории понятий

Начну с некоторых терминологических пояснений. Употребляя слово «понятие», мы указываем на то, что означают слово или фраза. Когда мы говорим о понятии евклидовой точки, мы указываем на то, что передает эта русская фраза или любая другая фраза — греческая, французская или английская, имеющая то же значение.

Пока что это указание совершенно нейтрально в отношении различных философских теорий, выясняющих, какого рода вещи *суть* понятия, т. е. в отношении вопроса о том, представляют ли они собой локковские идеи или платоновские Сущности. Ребенок, понимающий то, что он читает или слышит, усваивает значения слов, хотя и остается совершенно неспособным понять философские теории, объясняющие статус этих значений. Но уже здесь нельзя не отметить некоторые проблемы, связанные с естественной референцией слова «понятие». Кажется, например, более естественным говорить о понятии *равенства*, чем о понятии *равный*, о понятии *существования*, чем о понятии *существует*, о понятии *отрицания*, чем о понятии *не*. Когда нам необходимо упомянуть то, что передает прилагательное, глагол, предлог, союз или даже обычное конкретное общее существительное (например «человек»), мы стремимся использовать какое-то соответствующее абстрактное существительное. Мы обнаруживаем, что говорим о понятии *удовольствия*, а не о понятии *довольный* или *наслаждается*, о понятии *единства*, а не о понятии *один* или *единственный*. Возможно, это не существенно. Но разве абстрактное существительное «удовольствие» не означает то же самое, что означают соответствующие глагол «наслаждается» или прилагательное «довольный»? Так вот оказывается, что ответ должен быть отрицательным. Если я говорю «Я наслаждался этим концертом», я не могу просто заменить глагол «наслаждался» на существительное «удовольствие», поскольку из этого не получится никакого предложения. Мы скоро увидим, что неизбежное обобщение этого обстоятельства дало важнейшие результаты.

Первые три года двадцатого столетия Рассел был занят преимущественно развитием математической логики, задачей, существенным элементом которой было его философское исследование ключевых понятий формальной логики и арифметики. Этому исследованию посвящены некоторые из ранних глав его «Принципов математики» (1903), а также многие последующие его сочинения. Ключевые понятия, о которых идет речь, суть понятия *all* [все], *some* [некоторые], *any* [любой], *a* [неопределенный артикль], *the* (singular) [определенный артикль единственного числа], *the* (plural) [определенный артикль множественного числа], *not* [не], *is a... is identical with* [есть нечто... тождествен-

ное...], *exists* [существует], *if* [если], *and* [и], *or* [или],... *such that*... [... такой что...], а также понятия *переменной* (или *x*) и *пропозициональной функции*. Хотя Рассел так же, как и Гуссерль, не ставил под вопрос свою общую приверженность платонистической теории того, что такое понятия, собственно логические соображения заставили его осознать недостаточность нахождения отдельной платоновской универсалии или Сущности для каждого значимого слова. Фраза «Сократ и Платон» не может быть только перечислением Сократа, Платона и «ийности», так как конъюнкция этого постулированного третьего члена с двумя другими потребовала бы снова использования понятия *и*. «И» соединяет; это — не просто еще один объект конъюнкции. *Mutatis mutandis*, возражение этого же вида исключает идею рассмотрения любых других ключевых понятий логики как терминов, т. е. как объектов, упоминаемых в утверждениях, включающих такие слова, как «все», «нет», определенный артикль и другие. «Все люди смертны» и «Некоторые люди бессмертны» утверждают разные вещи, но они говорят не о разных предметах. Первое говорит не о *всейности*, а второе — не о *некоторости* или нетости.

В тот период Рассела особенно смущали глаголы. Он видел, что «Брут убил Цезаря» — значимое предложение, тогда как «Брут, убийство, Цезарь» — вовсе не предложение, а всего лишь перечень. Однако он не мог выразить различие между значением глагола «... убил...», употребляемого в живой речи, и значением соответствующего отглагольного существительного «убийство». Правда он утверждал, что органическое единство истинности или ложности, которое обеспечивают глаголы живой речи, не во власти соответствующего отглагольного существительного, ни даже этого существительного в сочетании с любым количеством сопутствующих отглагольных существительных. То, что выражает целое предложение, не может выразить последовательность имен объектов, и даже — платоновских объектов. Выяснить значение какого-либо логического слова или любого глагола живой речи, значит выяснить, какой вклад он вносит в целые утверждения, в которых оно участвует. Это выяснение не состоит просто в рассмотрении того, что это слово делает само по себе, поскольку само по себе оно ничего не делает. Оно *ex officio*⁴ является вспомогательным средством выражения истинных и ложных вещей как целых.

Это открыло Расселу глаза на то, что, возможно, многие другие виды выражений, как простых, так и сложных, могут быть не обозначениями дополнительных объектов, а вспомогательными средствами совокупных утверждений. Отсюда, фактически следовало, независимо от того, видел это Рассел или нет, что вообще-то может в принципе не быть такой вещи, как интуирование или инспектирование понятия *не*, Сущности определенного артикля или понятия «убил», поскольку то, что передается соответствующими словами, передается ими только в составе того или иного значимого предложения. Произнося такое слово, мы не упоминаем дополнительную сущность, используя ее имя, мы находимся в процессе выражения чего-то единого. Рассмотрение значения такого выражения представляет собой рассмотрение того общего, что объединяет все полные значимые предложения, в которых это выражение неизменно встречается, а другие варьируются. Его значение — абстрагируе-

⁴ в силу занимаемой должности (*лат.*).

мое свойство, а не извлекаемая часть единых смыслов включающих его различных предложений.

Не Рассел, а Витгенштейн, развивая аргументы Фреге, показал, что смысл предложения — это не то, что до сих пор молчаливо подразумевалось: целое, независимо мыслимыми частями которого являются значения слов, а что, напротив, значения частей предложения суть абстрагируемые различия и сходства между единым смыслом данного предложения и едиными смыслами других предложений, которые имеют что-то общее (но не все) с данным. Говоря эпистемологически, дело обстоит не так, что мы сначала обладаем понятиями и только потом собираем их в мысли. Мы начинаем с мыслей и заканчиваем мыслями, но посредством сравнительного анализа мы можем провести разграничение между способами, которыми нечто является постоянным *vis-à-vis* остальные переменные среди различных мыслимых нами единичных вещей. Человеческое лицо — это не молекула, состоящая из атомов профиля, цвета лица и его выражений; и все же мы можем выделить сходства и различия между разными лицами относительно упомянутых черт. Подобным образом утверждение — это не молекула, состоящая из атомов значений слов, в которые оно обличено; и все же мы можем выделить черты, объединяющие одно утверждение с другим или отличающее одно от другого.

Сейчас, пожалуй, мы можем приступить к формулировке идеи, отчасти знакомой нам со времен Сократа: философские исследования суть концептуальные исследования. Понятия — это не вещи, кристаллизующиеся в блестящей изоляции; они представляют собой различимые черты, но не отделяемые атомы, того, что целостным образом выражено или помыслено. Они являются не отделяемыми частями, а различимыми участниками единых смыслов завершенных предложений. Исследовать их, значит исследовать живую силу вещей, о которых мы на самом деле говорим. Это значит — исследовать их не по отдельности, а в их совместной работе.

Когда Аристотель был недоволен платоновским описанием Удовольствия, он бы ни к чему не пришел, если бы просто, так сказать, уставился на какой-то изолированный объект или Сущность, обозначаемую этим абстрактным существительным «Удовольствие». Вместо этого он правильно разобрал то, что мы утверждаем или отрицаем *in concreto*, когда говорим, что кому-либо понравился или не понравился концерт или что один музыкальный отрывок ему понравился больше, чем другой. В отличие от абстрактного существительного «Удовольствие», используемый в живой речи глагол «... нравится...» активно вносит здесь именно тот специфический смысловой вклад, для которого он в этом случае предназначался.

Подобным образом наше исследование понятия *существования* не может заключаться только в актах созерцания изысканного объекта, изъятото, подобно, например, монете в музее, из присущей ему коммерческой сферы деятельности. Мы должны рассмотреть, что мы утверждаем, когда утверждаем, например, что существует простое число с определенными характеристиками, когда отрицаем существование морского змея или Деда Мороза, когда спрашиваем, существуют ли до сих пор мамонты, когда они существовали и как долго, и даже когда мы просим кого-то создать, разрушить или сохранить что-то. С особен-

ным вниманием мы должны рассмотреть, в чем состоит абсурдность таких вопросов, как: «Существует ли Вы?»⁵, «Сколько спутников Венеры не существует?» и «Может ли вещь существовать *быстро* или с промежутками?»

Последнюю мысль стоит развить. Исследуя логические основания арифметики, Рассел обнаружил, что путь ему преграждают совершенно непредвиденные противоречия или антиномии. Некоторые из ключевых понятий логики перевернулись в его руках и породили не послушные следствия, которые мы должны были ожидать, а высказывания, истинные только при условии своей ложности, и наоборот. «Сейчас я говорю ложь» Эпименида — пример того вида непокорных утверждений, которые преградили путь Расселу.

После многих попыток обойти бунтовщиков Рассел использовал новое оружие. Некоторые предложения с непогрешимыми синтаксисом и словом не выражают ни истину, ни ложь, а просто бессмысленны. Они составлены, иногда целенаправленно, иногда нет, с нарушениями некоторых скрытых условий, определяющих, какие ассоциации между понятиями возможны. Некоторые изречения, подчиняющиеся правилам школьной грамматики, тем не менее ничего не выражают. Согласно метафоре, употребляемой как Гуссерлем, так и Витгенштейном, правила *логической* грамматики запрещают кооперацию между элементами таких изречений.

Рассел использовал это новое оружие для разрешения отдельных проблем. В руках Витгенштейна оно стало инструментом, который позволил полностью изменить теорию значения. Осмысленность или отсутствие смысла стало относиться здесь в первую очередь к целым предложениям. Понятие единого смысла предложения логически первично по отношению к понятию значений слов, из которых составлено этого предложение. Если в данном значимом предложении заменить одно из его слов на другое слово того же грамматического вида, то новое предложение не обязательно сохранит свою значимость. Хотя грамматически новое слово подходит, его значение, т. е. его возможный вклад в целое предложение, если таковой имеется, может оказаться неподходящим. Если в предложении «Манчестер находится рядом с Ливерпулем» [Manchester is near Liverpool], заменить «рядом» на «между», «Ливерпуль» на «Воскресенье», или «находится» на «случается», в результате получится бессмыслица. Понятие, так сказать, уже имеет форму, позволяющую ему входить в определенные, подходящие для него утверждения, вопросы, приказания и т. д.; и оно, таким образом, оформлено так, чтобы не занимать другие грамматически разрешенные вакансии. Как увидел Аристотель, в предложении «Он начал есть свой обед, но ему помешали закончить» [he began to eat his dinner, but was prevented from finishing] невозможно заменить слово «есть» на «наслаждаться». Еда, в отличие от удовольствия, есть *kinesis*⁶. По этой причине концептуальное исследование по необходимости должно быть не только исследованием, того, что может быть осмысленно выражено, но также того, что не может быть осмысленно выражено словом или фразой, выражающей исследуемое понятие. Работа понятия определена и регулируется правилами. Исследование понятия должно быть исследованием смысловых условий, при которых оно может, и условий, при которых оно не может выполнять свою

⁵ движение (др. греч.).

работу. Чтобы выполнять свою работу, понятие должно занимать такое положение, которое делает ее *возможной*. Слово «между», например, не может внести какой-либо смысл в предложение пока в нем не упомянуты, по крайней мере, три города; а глагол «случается» требует сопровождающего упоминания события, чего не терпит глагол «существует».

Когда Витгенштейн написал «Логико-философский трактат» (1921–22), он вывел определенные поразительные следствия из своего переворачивания традиционной теории понятий и высказываний. Мы видели, что предложения «Все люди суть смертны» и «Некоторые люди суть бессмертны» говорят не о разных объектах или сущностях. Следовательно, логические слова «все», «некоторые», «суть» и «не» имеют свои значения не *как* указатели дополнительных предметов или элементов, но лишь *как* особые участники структур единых смыслов предложений, в которых они функционируют. Отсюда, казалось бы, должно неумолимо следовать, что ни логик, ни философ не могут сконструировать осмысленные предложения *о том*, что выражают эти логические слова. Мы можем говорить истинные и ложные вещи о Сократе, но мы не можем выражать истинные или ложные вещи о том, что выражают «нет» или «и», или «есть». Конечно, мы можем выражать истину или ложь *о словах* «не» или «если», взятых в кавычки: например, что они являются односложными или многосложными. Но попытка выразить истину или ложь о том, что выражают эти слова, с неизбежностью ведет к бессмысленным речениям, наподобие: «И не в Лондоне» [And is not in London]. Слово «и» без кавычек не может заменить существительное «Сократ» ни в каком значимом предложении. То, что должно функционировать как конъюнкция, если оно вообще должно иметь какую-то функцию, не может функционировать как субъектный термин. То же самое верно в отношении любого другого логического слова, любого глагола живой речи, такого, как «убил», любого предикативного выражения, наподобие «есть человек» [is a man], и, наконец, любого целого предложения, такого, как «Сократ есть человек». Смыслы полных или неполных смыслопередающих выражений не могут сказать о них ничего из того, что может быть сказано о Сократе. Формальный логик, правда, может показать, как функционируют «и» и «не», демонстрируя как они действуют внутри скелетов полных предложений, из которых алгебраически удалено все информативное содержание. Подобно торговцу лошадьми, он может пустить «если» идти без поклажи или наездника, произведя, например, такую формулу: «для любого высказывания p и любого высказывания q , составное высказывание *если p то q* несовместимо с составным высказыванием p но не q ».

Но такая формула не является, *per impossible*⁶, информативным утверждением о субъектном термине, называемом «если»; это — предложение (или, скорее, пустой бланк для предложений), утверждающее что-то *с помощью* «если». Оно показывает работу, сделанную «если», но не приписывает, *per impossible*, атрибуты этой работе, поскольку слово «если» не занимает и не может занимать того места в этом скелетном предложении, на котором упоминается объект.

Концептуальные исследования, конституирующие философию, находятся даже в худшем положении, чем исследования, конституирующие формальную

⁶ через невозможное (*лат.*)

логику. Ведь очевидно, что философ должен стараться не только развернуть, но и описать интересующие его понятия. Он должен стараться сказать, что такое Удовольствие и Существование. Он должен стараться, неизбежно тщетно, присоединить предикаты, характеризующие объекты, к выражениям, не упоминающим никаких объектов. Но никакое жонглирование не сделает глаголы живой речи «наслаждается» или «существует» (кроме случаев их употребления в кавычках), грамматическим субъектами глаголов живой речи. Описание понятия философом неизбежно вырождается в бессвязное бормотание. Мечта Платона об описательной науке о Сущностях разбита вдребезги. Смысл предложения, а вместе с ним вспомогательные смыслы его частей не являются вещами, поддающимися описанию. Их нельзя описать, потому что они — не вещи.

Через несколько лет после «Трактата» Витгенштейн смог на практике, если не в эксплицитной доктрине, освободить нужное понятие *прояснения* от навязчивого понятия *описания объекта* и таким образом спасти концептуальные исследования от угрозы невыразимости, не уподобляя их снова инспектированию сущностей.

Но теперь давайте прекратим рассуждения об искусстве и возможности философского плаванья, а вместо этого бросимся сами в воду и почувствуем, каково это — пытаться плыть. С этой целью я собираюсь реанимировать три специфические концептуальные проблемы, с которыми я пытался справиться в «Понятии сознания». Написав эту книгу почти десять лет назад, я теперь могу правильно оценить себя самого с более зрелой позиции. Оценить, конечно, не как суровый судья, а как доброжелательный старший брат.

Философия сознания

Сначала несколько слов о замысле книги в целом. Хотя она носит название «Понятие сознания», на самом деле это — исследование разнообразных специфических ментальных понятий, таких, как понятия *знания, изучения, открытия, воображения, симуляции, надежды, желания, чувства депрессии, чувства боли, решения, умышленного действия, преднамеренного действия, восприятия, воспоминание* и т. д. Эту книгу можно описать как длинное феноменологическое эссе, если вас не смущает этот ярлык.

Моя книга не претендует внести вклад в какую-либо науку, даже в психологию. Если в ней сделаны какие-либо утверждения о фактах, то они оказались в ней только вследствие недоразумения. Далее, книга имеет свой центральный стратегический мотив. Философия сознания, по моему мнению, систематически искажалась распространенной концептуальной ошибкой, а именно ошибочным представлением о человеке как о существе, состоящем из двух частей — сознания и тела, с которыми связаны два в корне различных вида причинности. Следствием этого представления о раздвоенной причинности стало, на мой взгляд, двуликое описание человеческой жизни, согласно которому каждый срез жизни человека должен представлять собой пару срезов двух синхронных жизней, таинственным образом объединенных такой причинной связью, которая наводит мост через пропасть, разделяющую механическую и психическую причинности. Таким образом, я попытался показать,

как традиционный образец объяснения рухнул и потребовал замены совершенно другим образом в условиях множества специфических различий человеческих действий, способностей, сил и состояний.

Я упоминаю этот стратегический мотив главным образом для того, чтобы обратить внимание на общую черту концептуальных исследований, а именно на то, что задача философа никогда не состоит в исследовании *modus operandi* только одного понятия, взятого самого по себе; эта задача всегда состоит в исследовании *modus operandi* всех нитей паутины взаимодействующих понятий. Проблема с понятием, скажем, *воображения* есть *ipso facto* проблема с понятиями *восприятия*, *воспоминания*, *мышления*, *симуляции*, *знания*, *изобретения*, *экспериментирования*, и еще многими другими. Чтобы определить положение одного понятия, нужно определить его положение относительно множества других. Концептуальные вопросы являются межпонятийными вопросами; если одно понятие находится вне поля зрения, то и все связанные с ним понятия находятся вне этого поля.

Теперь попробуем «пощупать» два-три живых образчика.

Диспозиции и акты

В школе меня учили, что все глаголы действия обозначают действия [actions], т. е. то, что истинно для таких глаголов действия, таких как «копать», «гулять» и «строить», истинно для всех глаголов действия. Это совершенно ложно. *Сон* [sleeping], *умирание*, *игнорирование*, *забывание*, *обладание сходством*, *претерпевание* и *обладание* не являются действиями, хотя их обозначают глаголы действия.

Сейчас, говоря о ментальной жизни людей, мы используем много глаголов действия, обозначающих акты сознания; и у нас есть искушение допустить, что в этом и состоит функция всех глаголов действия, используемых в данных контекстах. Правильно перечислив в качестве ментальных актов [acts] или процессов *вычисление*, *обдумывание* и *припоминание*, мы дополняем этот список, перечисляя также в качестве актов или процессов *верование*, *знание*, *стремление* и *отвращение*. Если бы этот перечень был правильным, то в таком случае, говоря, что Сократ определенное время был занят, вычисляя или припоминая что-то, мы могли бы заменить причастие «вычисляя» или «припоминая» причастием «зная» или «питая отвращение». Но сразу становится ясно, что такую подстановку нельзя осмысленно сделать. Мы можем сказать, что Сократ знал что-то, верил во что-то или питал отвращение к чему-то, скажем, с двадцати лет до конца своих дней; но мы не могли бы сказать, что в любой конкретный момент времени он был занят знанием, верованием или отвращением. Как выяснил Аристотель, *знание*, *верование* и *отвращение* следует относить не к актам или процессам, а к «hexeis»⁷. Точно так же, как обладание велосипедом не есть что-то, случающееся или находящееся в процессе в некий момент времени, хотя владелец в течение некоего промежутка времени остается во владении велосипедом, *знание* и *верование* не являются происшествиями в ментальной жизни индивида, хотя они и имеют для нее важное значение совершенно иного рода. Конечно, я *приобретаю* велосипед в конкретный

⁷ устои; привычки (др. греч.).

момент времени и выясняю что-то или убеждаюсь в чем-то в конкретный момент времени; но обладание чем-то есть пребывание, а не достижение, имение, а не получение.

Существует, разумеется, много того, что я называю «диспозициональными» понятиями, не имеющих никакого особого отношения к людям или, *a fortiori*, к качествам их интеллекта и характера. Податливость стали — это ее диспозициональное свойство, которым она обладает, возможно, годами или вечно, но только в некоторые моменты, если вообще когда-нибудь, сталь действительно сгибают или скручивают, или она сопротивляется сгибанию и скручиванию. Навыки, которым обучена собака, могут сохраниться на всю ее оставшуюся жизнь, хотя её конкретные действия выпрашивания, например, ставшие результатом тренировки, встречаются сравнительно редко и длятся всего несколько секунд. Но особо пристального внимания требуют диспозициональные понятия, используемые для описания ментальной жизни человеческих существ; а именно: если мы, например, по невниманию примем глагол действия «верит» за обозначение акта, то будем вынуждены считать постулированные акты верования какими-то особыми оккультными действиями. Ведь мы никогда не находим ни других людей, ни себя, делающими что-либо подобное. Точно так же, если школьник убежден своей школьной грамматикой, что обладание велосипедом — это делание чего-то, он вынужден предполагать, что обладание — это действие оккультного рода, поскольку он никогда не встречал кого-либо, занятого обладанием.

Общим признаком диспозиционального понятия в противоположность понятию акта или понятию процесса, является то, что к ним не подходят временные характеристики. Человек мог бы вычислять или бежать в то время, когда часы бьют двенадцать, но он не мог бы заниматься знанием или верованием, или обладанием велосипедом, пока часы бьют двенадцать. Напротив, человек может узнать что-то за последние двадцать лет, но он не мог бы решать конкретную задачу в течение этого времени. О спящем человеке можно сказать, что он курильщик или что он верит, что Земля плоская, хотя в данное время он не курит и не размышляет о форме Земли.

Другие характеристики также будут соответствовать понятиям одного семейства, а не другого. Человек может делать что-то бодро или засыпая, быстро или медленно, эффективно или неэффективно, непрерывно или с прерываясь. Но ни одна из этих характеристик не подойдет его знанию, верованию, стремлению, отвращению или обладанию. Резюмируя упомянутую прежде метафору, можно сказать, что диспозициональные понятия и понятия актов «сформированы» для разных видов высказываний. Там, где подойдут члены одного семейства, не подойдут члены другого. Ввиду проблем, которые будут рассмотрены дальше, первостепенную важность имеет разграничение между различными видами диспозициональных понятий. Навыки не являются разновидностью слепых привычек; и ни те, ни другие не похожи на вкусы, наклонности, фобии, подавленные желания, моральные принципы или слабости. Но для моей теперешней цели достаточно привлечь внимание к необходимости следовать Аристотелю в его различении между типом силы [*force*], принадлежащей, например, глаголу «считать», и типом силы, принадлежащей, например, глаголу «знать»; и нам еще нужны методы определения этих различий. Чистое созерца-

ние (если бы оно, *per impossibile*, могло иметь место) Сущностей *Знания* и *Вычисления* никуда бы нас не привело. Мы систематически требуем раскрытия несоответствий между функционированиями этих понятий в живом дискурсе, чтобы, например, иметь возможность сказать, почему пробел в предложении «Сократ... быстро, но небрежно» может быть заполнен глаголами «считал» или «копал», но не глаголами «знал» или «обладал». Тем самым мы, кстати, избежим опасности, которая не миновала многих эпистемологов, а именно, считать знания и верования особыми — оккультными — процессами.

И еще кое-что о диспозициях. Хотя назвать кого-либо курильщиком, честным или музыкальным само по себе еще не значит сообщить, что в некий конкретный момент времени он делает нечто, все же то, что о нем сказано, тесно связано с упоминаниями его конкретных действий. Мы узнаем, что некий человеку — заядлый курильщик, видя его курящим один раз, затем увидев его курящим в другой раз и т.д. Мы выясняем, что он честен, услышав, как он говорит неприятную правду в различных конкретных ситуациях. Более того, знать или верить, что человек обладает музыкальным слухом, означает, *inter alia*⁸, ожидать, что он будет в будущем во время пения или исполнения музыкальных произведений брать правильные ноты, вздрагивать, услышав фальшивые ноты, аплодировать хорошей музыке и выключать радио, если звучит плохая музыка. Потенции, способности и склонности являются потенциями к..., способностями к... и склонностями к...; а пробелы здесь заполняют указания на действительные одномоментные поступки, реакции и воздержания от действий. Тем не менее, спящего или работающего за своим офисным столом человеку можно истинно описать как хорошо плавающего, хотя в данный момент он не занят плаванием.

Теперь перейдем к рассмотрению некоторых понятий действия.

Здесь я хочу обратить ваше внимание на важное, хотя и весьма тонкое различие между двумя семействами понятий действия. Рассмотрим, что мы утверждаем о докторе, 1) говоря, что он лечил больного, и 2) говоря, что он вылечил его. На первый взгляд, можно предположить, что это — такое же различие, что и различие между бегом и гулянием, или между рисованием и маранием бумаги. Но это различие имеет более радикальный характер. Говоря, что доктор вылечил больного, мы утверждаем одновременно, что он лечил пациента *и* что благодаря этому здоровье пациента восстановилось. Одним словом, лечение было успешным. Подобным образом, различие между моим оспариванием вашего мнения и моим убеждением вас в своей правоте заключается в том, что последнее включает в себя понятие моих аргументов как в действительности имевших тот эффект, на который они были рассчитаны. Именно так победа в гонке отличается от участия в ней, попадание в мишень — от стрельбы по мишени, убийство — от попытки убийства, а покупка товара — от торга за него. Это концептуальное различие между попыткой осуществления и достижением успеха можно показать следующим образом. Очень часто попытка достигнуть цели проваливается просто из-за невезения или оказывается успешной благодаря удаче. Бегун может выиграть гонку как потому,

⁸ среди прочего (*лат.*).

что бежал хорошо, так и потому, что его основной соперник поскользнулся в грязи. Поэтому имеет смысл описывать успех как удачный или провал как неудачный. Но бессмысленно было бы описывать саму попытку сделать что-то как имеющую место в силу удачного или неудачного стечения обстоятельств. В скелетном предложении «Сократ был достаточно удачлив (или достаточно неудачлив), чтобы...» пробел можно заполнить глаголом успеха или глаголом провала, но не глаголом попытки или ее предпринятия. Напротив, есть характеристики, которые соответствуют понятиям попытки или ее предпринятия и не будут соответствовать понятиям достижения успеха или недостижения успеха. Человек может что-то искать энергично, систематически или с перерывами; но мы не могли бы сказать, что он *нашел* что-либо энергично, систематически или с перерывами. Доктор может лечить пациента тщательно или небрежно, но он не может вылечить его тщательно или небрежно.

Текущая важность этого концептуального различия состоит в том, что в наших описаниях, например, интеллектуальных операций мы используем понятия обоих видов, и легко можем ввести самих себя в заблуждение, если предположим, что понятие одного вида принадлежит другому виду. Например, понятия *предоставления доказательства, учреждения, открытия, решения, видения* и *припоминания* все являются понятиями успеха. Было бы абсурдно говорить, что мыслитель ошибочно решил проблему, незаконно доказал теорему, вспомнил то, что не имело места, или видел то, чего не было. Есть много подобных понятий и из другого семейства, таких как *обдумывание, исследование, изучение, размышление, слушание* и др. Это все — деятельность, которой, несомненно, можно заниматься напрасно, упорно, методично и т. д. Ею человек занят в какой-то момент времени и некоторое количество времени, тогда как он не может быть таким образом занят решением, доказательством или видением (в отличие от попытки решить, доказать или увидеть). Если рассматривать понятие *выведения дедуктивного следствия* как принадлежащее к тому же ряду, что и понятия *обдумывания или исследования*, то мы, очевидно, столкнемся с ментальной деятельностью, таинственным образом контролируемой законами логики. Ведь дедуктивному выводу, разумеется, запрещено быть ошибочным, так же как излечению запрещено быть неуспешным. Наши теории знания, вывода и восприятия, *ex officio*, заинтересованы, среди прочего, в понятиях интеллектуального достижения или провала; поэтому, многое зависит от нашего разграничения между логическим поведением глаголов попытки от поведения такого рода глаголов успеха и провала.

Воображение

Теперь я перехожу к совершенно другой теме. В последней главе своей книги я обсуждаю целую группу понятий, подпадающих под общее название «Воображение». Здесь главное беспокойство у меня вызывали достаточно специфические понятия визуального и слухового воображения. Мы визуализируем или «видим нашим внутренним взором» лица, строения и пейзажи и «слышим» голоса или мелодии «в голове».

Мне было важно обсудить эти особые ментальные акты воображения, так как все мы испытываем сильное искушение мыслить человеческий разум как

своего рода приватные покои, а визуально и посредством слуха воображаемые вещи — как исконных обитателей этих приватных покоев. *Воображение*, таким образом, неверно истолковывается как особый тип наблюдения, объект которого оказывается внутренним и приватным объектом очевидца. Сартр в работе «Воображаемое. Психология феноменологии воображения» (1940) намеревался, в частности, атаковать то же самое ложное толкование этого понятия. Была и другая концептуальная ошибка, которую я, как и Сартр, попытался разоблачить. Юм и многие другие придерживались той точки зрения, что различие между увиденным и визуализированным, между «впечатлениями» и «идеями» есть различие в степени интенсивности. Из этого, по-видимому, следовало бы, что очень слабые шумы, как, например, едва различимый шепот, следовало бы считать слуховыми образами или «идеями»; а только воображаемые крики — действительно слышимым шепотом. Это абсурдно.

Я не буду повторять аргументы, посредством которых Сартр и я разоблачили взгляды Юма или другие взгляды, согласно которым воображение есть наблюдение вещей, существующих или происходящих внутри приватных покоев очевидца. Еще интереснее, по крайней мере для меня, что после разоблачения этих коварных неправильных толкований понятия я был обязан предпринять попытку дать правильное позитивное описание, но в этом концептуальном поиске я потерялся. Думаю, я был на правильном пути, уподобляя воображение, например, визуализацию, куда более общему понятию создания впечатления [make-believe], относительно некоторых других вариантов которого, таких, как понятия симуляции и разыгрывания, мне было все более или менее ясно. Но когда я стал классифицировать визуализацию как «создание впечатления видения», я почувствовал концептуальное замешательство, а это всегда есть верный знак того, что что-то пошло не так. Отчасти это замешательство было вызвано тем фактом, что мое предшествующее исследование собственно визуального восприятия застопорилась на отношениях между понятием видения, скажем, деревьев и звезд и понятием наличия оптических чувственных впечатлений. Это иллюстрация к тому, что концептуальные исследования нельзя запирать в герметичную камеру.

Все то долгое время, пока я так барахтался, меня не покидала одна идея, которая до сих пор представляется мне чрезвычайно важной для понятия воображения. Вот она. Человеку, слушающему концерт, какая-то часть музыкального произведения может показаться незнакомой настолько, что он будет постоянно стремиться узнать, как она звучит; но человек, повторяющий некую мелодию у себя в голове, должен уже узнать и еще не забыть, как звучит эта мелодия. И более того, он не только должен уже знать, как звучит мелодия, но должен в то же самое время *использовать* это знание; он должен быть действительно *думающим*, как она звучит; и он должен быть *думающим*, как она звучит тогда, когда в действительности мелодия не звучит для него и не напевается им вслух. Он должен мыслить звучание музыки в ее отсутствие.

Эти «должны» не являются каким-то психологическим законом. Акт не было бы актом воображения мелодии в чьей-то голове, если бы не были выполнены эти условия. В этом я твердо уверен. Но вот что меня озадачивает: что еще следует *сказать* об этом понятии *обдумывания, как звучит мелодия?* Ведь человек может сказать, даже с удивлением: «это было почти как если бы

я в действительности слышал ноты». Тот вид «думания», который он осуществлял, имел определенную степень живости или жизненности, который заставляет его желать уподобить его просто помысленные ноты услышанным нотам, исключая то решающее различие, что помысленные ноты были *только* помыслены, а вовсе не услышаны. Он не слышал никаких нот; но он живо их «слышал». Он так живо *не*-чувственно воображал, как бы они звучали, что это было почти так же, как если бы они звучали в его ушах. Я очень хорошо чувствую, что именно для этого понятия квазичувственности или живости, например, звучащих воображаемых нот, не смог подыскать продуктивного решения.

«Cogito»

Последний образец моей феноменологии, который я хочу упомянуть, следующий. Существует давно признанное важное различие между заявлениями от первого лица и соответствующими заявлениями от третьего лица. Утверждая, что кто-то подавлен, испытывает боль или намерен отправиться в путешествие, я легко могу ошибаться. Но если я утверждаю, что подавлен, испытываю боль или намереваюсь отправиться в путешествие, будучи при этом искренен, я, кажется, должен утверждать что-то такое, в отношении чего я не могу ошибаться. Я не могу ошибаться или даже сомневаться относительно моего теперешнего настроения или моих текущих намерений. Эта свобода от возможности неуверенности и ошибки не распространяется ни на мои заявления о моем прошлом самочувствии или прошлых намерениях, ни мои утверждения о моих будущих настроениях или намерениях. Она также не распространяется ни на какие диагнозы причин моей подавленности или боли, а также ни на какие заявления, которые я могу сделать в настоящем времени касательно физиологического состояния любой части моего тела. Я могу, например, ошибаться, думая, что у меня сейчас высокая температура.

Именно утверждения в модусе настоящего времени от первого лица или, иначе, «признания» относительно ментальных состояний и актов кажутся свободными от какой-либо возможности сомнения или ошибки.

На первый взгляд мы склонны следовать Декарту, говоря, что такие «признания» выражают высочайший уровень знания и уверенности. Ни одна другая истина не могла бы быть лучше мне известна, чем истина, что я сейчас чувствую боль или подавленность. То, в чем я могу в любой данный момент признаться другим или себе, возглавляет список вещей, о которых я не только могу заявить, что знаю их, но которые я действительно знаю и не могу не знать.

Но в таком понимании признаний как выражений знания есть нечто загадочное. Обычно, распределяя утверждения по шкале приближения к достоверности, мы используем такие наречия, как «вероятно», «предположительно», «несомненно», «очевидно», «самоочевидно». Но ни одно из них, даже наивысшее, неприменимо для характеристики выражения «Я испытываю боль». И мы не могли бы сказать «Я доказал, или выяснил, или решил, вне всяких сомнений, что я испытываю боль» или — «Я имею все основания думать, что я испытываю боль».

Здесь не подходит даже глагол «знать». Знать что-либо — значит открыть или узнать это и не забыть. Но выражение «Я выяснил, что подавлен» абсурд-

но, в то время, как с выражениями «Я выяснил, что она подавлена» или «Она выяснила, что я подавлен» все в порядке.

Кажется, что признание в подавленности происходит, так сказать, прямо из самой подавленности, а не из урегулирования, даже окончательного, каких-либо связанных с этой подавленностью вопросов. Признаваясь в своей подавленности, я говорю просто как подавленный человек, а не как занимающий чертовски выгодную позицию для наблюдения репортер.

В своей книге я отчасти уподобил признания зеванию, демонстрирующему сонливость, знаками которой оно и является, или ругательствам, посредством которых рассерженный человек высвобождает свой гнев и показывает другим, насколько он рассержен. Я был склонен говорить, что так же, как ругательство не является отчетом о рассерженности, признание подавленности не является отчетом о подавленности, а представляет собой ее всплеск. Признание свободно от недостоверности лишь по той же причине, по какой всплеск эмоции или жалоба не могут характеризоваться наречиями «возможно» или «несомненно». Но очевидно, что это уподобление признаний всплескам или жалобам недостаточно. Признание может быть ответом на вопрос; оно даже может иметь целью предоставить врачу или окулисту информацию, которая ему требуется для постановки диагноза. Говоря «Я меня стреляющая боль в глазах», я делаю сообщение, хотя я могу тем самым выражать также и жалобу. Признания, таким образом, выглядят похожими на сообщения, но они все же не являются сообщениями о чем-то, что было выяснено или установлено; они могут быть приняты в качестве неоспоримых, но все же не следуют из какой-либо уверенности или, равным образом, неуверенности тех, кто их выражает. С одной стороны, признания звучат совершенно авторитетно, и все же нет ничего такого, в чем те, кто их выражают, являются какими-то особыми авторитетами. Я не эксперт по собственной боли, и не наблюдаю ее с чертовски выгодной позиции; я — просто человек, испытывающий боль и говорящий, что это так. Вы можете предполагать, вывести, верить или знать, что я испытываю боль, но я всего лишь испытываю боль и в моем распоряжении есть слова, чтобы это выразить. Мои признания для вас могут быть наилучшими возможными основаниями для вывода о моей боли; но это — не *мои* основания. Мне не нужны основания. Я не делаю умозаключения.

Здесь, таким образом, мы имеем еще одну загадку или проблемную область философии сознания. Эти заявления, сделанные от первого лица и в настоящем времени, не ведут себя ни как вспышки ментальных состояний, ни как проверяемые отчеты об обычных фактах. Менее всего они похожи на абсолютным образом удостоверенные отчеты о солипсистских фактах. Их концептуальное местоположение до сих пор еще не зафиксировано; поэтому и местоположения понятий сознания и самосознания остается неустановленным; и поэтому остается неясным, что выражают понятия «я», «ты» и «он». Но, возможно, нам стало более понятно, к какой именно фиксации позиции мы стремились.